

ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГОД ИЗДАНИЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ

№ 8

1957

*СЕРИЯ
ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ*

Выпуск 2

Редакционная коллегия серии:

Г. В. Ефимов (отв. редактор серии),
М. П. Алексеев (зам. отв. редактора), А. Ф. Бережной,
А. Н. Болдырев, Б. М. Кочаков, Б. А. Ларин,
В. В. Мавродин, Н. И. Павлицкая (секретарь),
А. А. Холодович, П. Р. Швердалкин

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1957

В. В. Струве

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ И ЗАМЕНА ИДЕОГРАММ В ШУМЕРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ПИСЬМЕ

На сессии ЛГУ 1955 г. я выступал с докладом, посвященным определению значения двух основных глагольных префиксов шумерийского языка *mu-* и *e-*. На настоящей сессии, посвященной столетию со дня основания восточного факультета нашего университета, а хочу остановиться в первую очередь на другом кардинальном вопросе шумерийской грамматики, а именно на вопросе, поставленном А. Пёбелем, о наличии категории времени в шумерийском глаголе.¹ Пёбель, а за ним и все зарубежные шумерологи, утверждали, что шумерийский глагол отмечал категорию времени.² В зарубежной шумерологии были установлены претерит и настоящее время, которое вместе с тем служило и для обозначения будущего. У нас еще три года тому назад исследователи шумерийских текстов полагали вместе с зарубежной филологической наукой, что шумерийскому языку была известна категория времени.³

В 1954 г. была опубликована статья И. М. Дьяконова,⁴ в которой он допускает, что в шумерийской глагольной форме могут присутствовать наряду с другими показателями и «показатели незавершенного (?) действия».⁵ Правда, здесь автор сопровождает это свое положение вопросительным знаком, но в дальнейшем он уже без колебания утверждает, что в шумерийском глаголе различались «вид совершенный» и «вид несовершенный». При этом следует отметить, что, согласно приложенным автором парадигмам глагольных форм, «вид совершенный соответствует претеритуму, а вид несовершенный» настоящему-будущему Пёбеля.⁶ О категории времени И. М. Дьяконов в своем очерке совсем не упоминает, очевидно тем самым отрицая возможность для шумерийского глагола отражать время, в течение которого происходило действие. Он, к сожалению, не объясняет, каким путем он пришел к этому столь существенному для шумерийской грамматики выводу⁷ и не отмечает, хотя бы

¹ См.: P o e b e l. Grundzüge der Sumerischen Grammatik, стр. 214 сл. и парадигмы глагола, стр. 301 сл.

² Даже D e i t e l. Sumerische Grammatik (2 изд.), стр. IV, отрицающий глагол в шумерийском языке, допускает, что суффикс *-e* «дает, кажется, глаголу значение Praesens—Futurum»⁴

³ И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 1, стр. 21, прим. 6, 25, прим. 13, 27, прим. 9, 28, прим. 2 называет „Praes.—Fut.“, а на стр. 27 прим. 12 отмечает „Fut“.

⁴ «О языках Древней Передней Азии» («Вопросы языкознания», 1954, № 5, стр. 43 сл.).

⁵ Ук. соч., стр. 49.

⁶ Там же.

⁷ Это мое замечание является лишь констатацией факта, а не репримандом автору, который и не мог дать аргументации своего положения в небольшой сравнительно статье, в которой он дает очерк не только шумерийского языка, но и хурритского, урартского, эламского и других «каспийских» языков.

в примечании, что еще несколько лет тому назад утверждал отражение шумерийским глаголом настоящего-будущего времени.¹

Я также в 1953 г. по мере углубления в изучение исторических надписей Урукагины пришел к убеждению, что категория времени была чужда шумерийской грамматике, и к этому моему выводу я пришел путем сопоставления двух основных частей надписей конусов А, В и С, а также так называемой овальной пластинки. В первой части надписей излагались злоупотребления прошлого, предшествующего воцарению составителя надписи, а во второй части перечислялись мероприятия самого правителя-реформатора. Конечно, при таком распределении содержания текста надписи, увековеченной на указанных эпиграфических памятниках, было бы вполне естественным использование в одной из частей текста глагольных форм, с префиксом *e-*, а в другой глагольных форм с префиксом *mu-*, чтобы отметить различие отрезков времени, в пределах которых имели место сперва злоупотребления, а затем отмена их через посредство реформ вновь вступившего на престол правителя.

Но в изучаемом тексте мы не находим подобного различия в глагольных формах, поскольку в обеих частях текста представлены преимущественно глагольные формы с префиксом *e-* и без суффикса *-e*.

Из данного факта следует, я полагаю, вывод, что шумерийский глагол не отражал времени, а отражал совершенный и несовершенный вид и что совершенный вид находил свое выражение в той глагольной форме, которую Пёбель в свое время определил как претерит. Дело в том, что глагольная форма совершенного вида является вполне уместной и в части надписи, перечисляющей злоупотребления, и в части, отмечающей реформы. Злоупотребления нашли свое завершение в прошлом, при предшественниках царя-реформатора, а реформы являлись совершенными в тот самый момент, когда Урукагина осуществил приказ бога Нингорсу об отмене злоупотреблений.

Наряду с глагольными формами, отражающими, как мы только что видели, совершенный вид, встречаются глагольные формы, отягченные суффиксом *-e*, в которых Пёбель, а за ним и почти все последующие шумерологи, видели выражение настоящего-будущего времени. Я же полагаю, что эта глагольная форма, расширенная суффиксом, не может выражать категорию времени, поскольку она находит свое применение в изучаемых мною надписях в контексте, излагающем события, которые вполне определенно происходили в прошлом. Так, например, в овальной пластинке (ст. II, 10–13) отмечается в части, излагающей злоупотребления прошлого, следующее преступление против «сына легковооруженного воина», т. е. представителя одного из социально-экономически слабых слоев общества Лагаша:² *du₁mu ukú-ge HAR-SAG + HA-na u-tu-aka ku₆-bi lú ba-da₅-ka₆-re*, т. е. «Если сын легковооруженного воина на высоком месте себе устроил рыбный садок, то муж³ брал вместе с ним рыбу его».⁴

¹ См. отмеченные выше в прим. 3 примечания И. М. Дьяконова. Правда, здесь (ВДИ, 1951, № 1, стр. 25, прим. 10) мы находим утверждение, что удвоение основы глагола передает «несовершенный вид», но из этого, конечно, не следует, что уже в 1951 г. И. М. Дьяконов стоял на той же позиции, что и в своей статье 1954 г. Тогда, в 1951 г., он допускал, очевидно, возможность отражения шумерийским глаголом и категории времени и несовершенного вида. В своей же работе 1954 г. он отвергал в шумерийском глаголе наличие категории времени и допускал лишь выражение глаголом вида совершенного и несовершенного.

² Об этих «*ukú*» я буду говорить ниже.

³ Надо полагать, что и в надписях Урукагины, как и в законах Хаммурапи «*lú*» означает «муж».

⁴ В шумерийском языке различались класс одушевленных и неодушевленных

Стало быть, глагольная форма, выражающая, по мнению многих шумерологов, настоящее-будущее время, соответствует в данном случае тем не менее действию, происшедшему в прошлом. При интерпретации исторических текстов Урукагины можно встретиться еще несколько раз с подобными же глагольными формами, и эти последние, подобно глагольной форме, приведенной в ст. II, 13 овальной пластинки, отмечают не только действие прошедшего времени, но вместе с тем и многократное действие. Дело в том, что в выше процитированном условном предложении из текста овальной пластинки мы имеем противопоставление не глагольной формы прошедшего времени глагольной форме настоящего-будущего времени, а глагольной формы, отмечающей совершенное однократное действие, глагольной форме, выражающей многократное действие. Действительно, «сын легковооруженного воина» один раз для себя устроил рыбный садок, а представители господствующего класса неоднократно таскали у него рыбу из садка.

Зарубежные шумерологи не установили в глагольной форме с суффиксом *-e* выражение многократного действия. Это было обусловлено, очевидно, тем, что глагол в западноевропейских языках не отмечал итеративности действия, как на это указывал и В. С. Голенищев, когда он пытался доказать наличие в египетском языке итеративной формы глагола,¹ не установленной его западноевропейскими коллегами. Вместе с тем глагольная форма с суффиксом *-e* отмечала несовершенный вид, являясь соответствующим противопоставлением глагольной форме, лишенной суффикса *-e*, которая, как мы выше видели, выражала совершенный вид. Вполне понятно, что в языке, не знающем категории времени, глагольная форма несовершенного вида могла отмечать и многократность действия, поскольку последняя была естественным образом связана с незавершенностью действия. Таким образом, установление в шумерийской глагольной системе вида совершенного и несовершенного взамен претерита и настоящего-будущего времени дает возможность выявить в шумерийском глаголе не отмеченный до того момент многократности действия.

Данные уточнения, внесенные в дело изучения шумерийского глагола, окажут свое содействие при интерпретации надписей Урукагины и других шумерийских текстов. Сейчас же я перехожу к другой проблеме, решение которой является одним из существенных условий для правильного понимания любого шумерийского текста. Это вопрос о закономерности замены в шумерийском тексте одного клинописного знака другими, если оба они близки друг другу в фонетическом отношении, но различны и своим графическим образом и в своем семантическом значении. Решение указанного вопроса является тем более необходимым, поскольку некоторые из интерпретаторов столь ценных исторических надписей Урукагины, или ему приписываемых, считали возможным, без соответствующих изысканий, отождествить фонетически близкие клинописные знаки не только как фонемы, но и как идеограммы.

Так, например, один из переводчиков текста овальной пластинки отождествил безоговорочно в ст. III, 11 и 24 надписи клинописный знак

явлений. Притяжательным местоимением по отношению к одушевленному явлению было «*ni*», а по отношению к неодушевленному «*bi*» (В. В. Струве. Классовый показатель в шумерийском языке. Изв. АН СССР, 1934, стр. 111). Поэтому здесь «рыба его» относится не к «сыну легковооруженного воина», а к «рыбному садку».

¹ Во французском издании «Сказки о потерпевшем крушение», 1912.

«aš» со знаком «áš» в качестве идеограмм, хотя оба знака не только графически, но и семантически отличались друг от друга.¹

Действительно, основным семантическим значением «áš» как идеограммы является понятие «проклятие», а основное идеографическое значение «aš», графически соответствующее горизонтальному клину, соответствует числу «один». Ни один из прочих известных нам семантических вариантов знака «áš» не совпадает ни с одним из засвидетельствованных для знака «aš» вариантов его идеографического значения² и поэтому несомненно о каком-либо отождествлении знаков «áš» и «aš» в качестве идеограмм не может быть и речи.³

Подобное безоговорочное перенесение содержания идеографического понятия одного клинописного знака на другой, близкий ему лишь в фонетическом отношении, является в особенности неуместным при интерпретации лагашских текстов. Дело в том, что надписям из Лагаша, согласно наблюдению одного из авторитетных шумерологов, свойствен идеографический характер.⁴ Вообще письмо юга отличалось своим идеографическим характером по сравнению с письмом севера южного Междуречья. Так, например, имя города Эшнунна писалось в противоположность именам городов юга не идеографически, а фонетически.⁵

Поэтому следует со всей категоричностью при интерпретации шумерийских текстов отвергать без предварительных изысканий возможность отождествления клинописных знаков, различных в графическом и семантическом отношении, хотя фонетически и близких. Подобные клинописные знаки могут заменять друг друга лишь в том случае, если они заведомо используются в качестве слоговых фонем, как, например, «ga» и «gá»,⁶ или «da» и «da₅».⁷ Но и такая замена могла быть произведена безоговорочно лишь при том условии, если основное фонетическое значение и того и другого знака является действительно близким, как, например, значение слоговых законов «ga» и «gá». Не могут же служить безоговорочно заменой друг другу два таких клинописных знака, фонетический эквивалент которых не является близким или тождественным, как, например, знак, соответствующий гласной «а», и знак, который имел своим основным фонетическим соответствием слог «ак» и лишь вторичным гласную «а».⁸

Клинописные знаки, отличные своим графическим обликом, но близкие и в фонетическом и в семантическом отношении, могли в шумерий-

¹ См. ВДИ, 1951, № 1, стр. 28, прим. 12. Правда, слово „di“¹, соответствующее чтению знака „aš“ как „один“, сопровождается вопросительным знаком, но автор не сомневается, очевидно, в отождествлении знака „áš“ с числом „один“, поскольку, по его мнению, весь контекст следует „по-видимому“ буквально перевести „в вора камни (za) по одному бросают“.

² См.: А. Деймель, Sumerisch-Akkadisches Glossar, стр. 19–20.

³ При интерпретации текста овальной пластинки возникают и другие грамматические затруднения в результате отождествления знаков „aš“ и „áš“ в семантическом отношении.

⁴ M. Lambert, R. A., 1950, стр. 152 в рецензии на грамматику языка надписей Гудеи А. Фалькенштейна.

⁵ Прежде полагали, что „Эшнунна“ являлось идеограммой имени города Туплиаш к северу от Сиппара в области к востоку от среднего Тигра. Теперь же установлено, что „Эшнунна“ соответствовало не идеографическому, а фонетическому написанию древнего города, расположенного в области, которая носила название в известный период „Туплиаш“. См. Th. Jacobsen. Philological notes on Eshnunna a. its inscriptions (Assyriol. Stud. 1934, № 6, стр. 1).

⁶ См. пример, приведенный в Revue d'Assyriologie, т. XLIII (1949 г.), стр. 47, прим. 8.

⁷ См. хотя бы выше, на стр. 3, глагольную форму „ba-da₅-kar-ge“, в которой „da₅“ заменяет „da“.

⁸ См. M. Lambert, R. A., 1950, стр. 152.

ском письме заменить друг друга, как, например, «ug» «лев» и его синоним и омоним «úg».¹ Но интерпретатор шумерийского текста должен быть крайне осторожным и при сопоставлении подобных знаков, близких и фонетически и семантически, чтобы не впасть в ошибку, которая может оказаться роковой для правильного понимания изучаемого письменного памятника. Дело в том, что степень близости между двумя идеограммами в отношении семантики может быть весьма отличной. Если только что названные знаки «ug» и «úg» являются вполне тождественными в данном отношении, то идеограмма «ikú», встречающаяся в надписях конусов А, В, С в связи со словами «апа» «мать»² и в тексте овальной пластинки в связи со словом «dumu» «сын»,³ не является семантически столь близкой идеограмме «ikú», с которой ее отождествлял, колеблясь, А. Деймель,⁴ а за ним в свое время и И. М. Дьяконов.⁵

На основании отождествления идеограмм «ikú» и «ikú» оба исследователя сделали весьма ответственные выводы, которые, как я полагаю, закрыли им путь к правильному пониманию ряда существенных мест изучаемых им надписей. Методическая же осторожность несомненно удержала бы их от столь поспешного отождествления данных двух идеограмм «ikú» и «ikú», которые в семантическом отношении являются не столь близкими, как они, очевидно, предполагали. На самом деле «ikú» обозначает «народ»,⁶ а интересующая нас идеограмма «ikú» в надписях Урукагины соответствует аккадскому слову «labnu», которое переводится как «опустившийся», «низкий».⁷ Поэтому Тюрю-Данжен без какого-либо колебания переводит в своем издании надписей шумерийских правителей слово «ikú» как «бедняк»,⁸ или «жалкий».⁹

Правда, И. М. Дьяконов сомневается в правильности данного и заявляет, «что сам термин labnu (аккадское соответствие шумерийскому „ikú“) вообще можно перевести, как „бедняк“ только с натяжкой».¹⁰ Но я полагаю, что не требуется какой-либо натяжки, чтобы вывести из значения «labnu» «склоненный ниц», допускаемого самим Дьяконовым, также и понятие «бедняк», «жалкий». Тем не менее И. М. Дьяконов отказывался в свое время наотрез от тех возможностей истолкования, которые ему представляла идеограмма «ikú» и перешел к анализу идеограммы «ikú» «народ», отличной графически, а семантически не слишком близкой идеограмме «ikú» надписей Урукагины. Опираясь на это отождествление, И. М. Дьяконов и пришел к весьма ответственному выводу, что «ikú» надписей Урукагины означает «род» и предлагает поэтому «со всей осторожностью» для «апа ikú» перевод «сородич», а для «dumu-ikú» перевод «член рода».¹¹ Поскольку подобный перевод социальных терминов «апа ikú» и «dumu ikú» надписей Урукагины обязывает историка к весьма определенной характеристике общества Лага-

¹ См. наблюдение, сделанное R. Jestin в R. A., 1950, стр. 72, путем сопоставления двух указанных знаков.

² Конус А, ст. I, I и конус В и С, ст. V, 23 и ст. X, 18.

³ Ст. II, 10 и ст. III, 6.

⁴ *Orientalia* (первая серия), т. II, стр. 27.

⁵ ВДИ, 1951, № 1, стр. 18. Автор заявляет, что отождествление идеограмм „ikú“ и „ikú“ „представляется нам вероятным“. В своей последней работе 1956 г., еще не напечатанной, И. М. отчасти отказался от своей ошибки.

⁶ A. Deimel. *Sumerisch-Akkadisches Glossar*, S. 106a.

⁷ Там же. См. также: *Bezold. Babylonisch-Assyrisches Glossar*, стр. 1576 и другие вавилоно-ассирийские словари.

⁸ САК, стр. 47, 49, 53.

⁹ Там же, стр. 55.

¹⁰ ВДИ, 1951, № 1, стр. 18.

¹¹ Там же, стр. 20.

ша времени предшественников Урукагины и его самого, то и вопрос о закономерности отождествления идеограмм «ukú» и «ukù» приобретает большую остроту.

Переходя к этому вопросу, надлежит отметить, что сравнительно недавно был издан новый материал, проливающий яркий свет на значение аккадского эквивалента шумерийской идеограммы «ukú» — «labnu». Это материал из архива города Мари времени великого царя Вавилонии Хаммурапи.¹ Часть документов этого большого архива составляют письма, которые писал ассирийский царь Шамши-Адду своему сыну Ясмах-Адду, которого он после завоевания Мари поставил здесь правителем. В одном из писем он противопоставляет «мужа бедного» LU labnum «богатым», относительно которых он заявляет, что они ради избежания военной службы нанимают в качестве своих заместителей более бедных граждан, получающих тем самым возможность поддержать жизнь своих семей. Поэтому царь-отец предостерегает сына включать в армию «богатых людей», ибо они способны оставить ее во время похода.²

В другом письме противопоставляются «мужи люди бедные» «LU. (MES) eṭ-lu-tum la-ar-nu-tum» с «DUMU (MEŠ) LU (MEŠ) dam-gu-tim» «сыновьям мужей благополучных», т. е. благополучных, очевидно, в экономическом отношении. Первые находятся на иждивении «дворца», а вторые живут в домах своих семей.³ Надо полагать, что свидетельство данных документов из Мари, противопоставляющих «мужей labnutum» людям зажиточным, богатым и побудило С. Н. Кремера вернуться в 1953 г. к переводу Тюрю-Данжена 1907 г. «ama ukú» и «dumu ukú» как «мать бедняка» и «сын бедняка».⁴

На самом деле, в свете свидетельства ставших теперь известными документов из архива Мари перевод Тюрю-Данжена вряд ли может вызвать серьезные сомнения.

Предположение Деймеля, что «ama ukú» «мать бедняка» соответствует сложному выражению «ama eṭip-na₂» «мать воина»,⁵ теряет в настоящее время свою убедительность, поскольку в «eṭip₂» нет момента социальной и экономической приниженности, который включен в семантику знака «ukú» — «labnu». Что же касается самого сложного выражения, «ama eṭip₂-na» является обозначением какой-то категории воинов, и, стало быть, нельзя здесь понимать слово «ama» «мать» в его прямом значении. Деймель предлагает видеть в них тех воинов, которые стояли, согласно изображению на знаменитой «стеле коршунов», со своими громадными щитами в первом ряду фаланги, защищая тем самым, подобно матерям, стоящих за ними копейщиков.⁶

В таком случае воины «ama eṭip₂» входили в состав фаланги, т. е. принадлежали тому слою населения, из которого рекрутировались тяжело вооруженные воины. Последних же никак нельзя было причислить

¹ I т. содержащий автографии писем царя Ассирии Шамши-Адду, был издан G. Dossin в 1941 г., а II т. автографий различных писем Ch. F. Jean в 1946 г. В 1950 г. были изданы теми же учеными транскрипции и переводы названных документов архива Мари, как, например, первые 2 тома серии „Archives royales de Mari“.

² G. Dossin. Archives royales de Mari I, № 17, строки 8—13. См. рецензию издания: A. Leo Oppenheim в J.N.E.S., 1952, т. XI, стр. 132.

³ Archives royales de Mari II, № 1, строки 18—23. См.: Oppenheim, ук. соч., стр. 132, и Ch. F. Jean. L'armée du royaume de Mari (R. A., 1948, стр. 137).

⁴ Israel Exploration Journal, т. III, стр. 231.

⁵ См. Orientalia, 2, стр. 27a. См. также Orientalia, 26, стр. 59, и Š. L. № 237 (стр. 481), 47, 52, 57, 66.

⁶ Orientalia, 2, стр. 27a.

к «*ukú*» — «*labnu*» — «беднякам»,¹ а поэтому и отпадает основание для отождествления «*ama egi₂-pa*» и «*ama ukú*» надписей Урукагины. Переходя же к анализу выражений «*ama ukú*» и «*dumu ukú*», мы, очевидно, должны первые их составные элементы «*ama*» и «*dumu*» понять в самом прямом смысле этих слов, ибо лишь тогда мы получим соответствующее контексту значение обоих выражений. На самом деле «мать бедняка» и «сын бедняка», т. е. бедная вдова и бедный сирота, являются в любом классом обществе, в том числе и в древневосточном, именно теми лицами, которых легче всего обидеть. Да и сам Урукагина в ст. XII, 23—29 подчеркнул свой договор с богом Нингирсу ради защиты сирот и вдов: «Чтобы сирота [и] вдова мужу, силу (букв. „руку“) имеющему, не отдавались, с богом Нингирсу Урукагина слово это установил».

Урнаammu, основоположник III династии Ура (2132—2024 г. до н. э.), заявлял в прологе к своим законам, что при нем сирота богатому человеку не передавался и вдова человеку с мощной рукой не передавалась.

Хаммурапи же в эпилоге к своим законам (ст. XXIV оборотной стороны) отмечал, что целью его законодательства было «вдове и сироте право предоставить».

Конкретными примерами защиты сирот и вдов законодательством Урукагины и являются его мероприятия по ограждению «матери бедняка» и «сына бедняка» от тех злоупотреблений, которым они подвергались при предшественниках царя-реформатора.

Подобное истолкование выражений «*ama ukú*» и «*dumu ukú*» согласуется, таким образом, полностью с общим характером надписей, посвященных реформам Урукагины. Правда, И. М. Дьяконов дал, как мы сейчас увидим здесь, иное толкование этим выражениям, опираясь на устанавливаемое им положение, что «*ama-*» может быть просто словообразовательным префиксом, подобно «*nam-*» (букв. «судьба»), «*ní(g)-*» (букв. «вещь») и «*ki-*» (букв. «место»)². Но я полагаю, что данное положение вряд ли может быть принято. Дело в том, что те примеры сложных выражений с «префиксом» «*ama-*», которыми И. М. Дьяконов пытается подкрепить свое положение, не являются доказательными.

Действительно, утверждение И. М. Дьяконова, что «*ama egi₂-pa*» не «мать воинов», а «тяжеловооруженный воин» и вообще «войско»³ ничем не подкрепляет его положение, поскольку сложное выражение «мать воинов» является, как мы выше видели, образным названием для одного из разрядов тяжеловооруженных воинов, защищавших своими щитами, подобно матерям, фалангу прочих воинов. Характерным моментом является то обстоятельство, что они названы не «отцами», а «матерями» воинов.

¹ См. В. Струве. Изв. ГАИМК, № 97, стр. 26 сл., и его же, История Древнего Востока, стр. 72.

² ВДИ, 1951, № 1, стр. 19.

³ ВДИ, 1951, № 1, стр. 19 со ссылкой на ŠL, № 237, 47 и Ник., 105, ст. 1. В связи с этим следует указать, что для «*ama egi₂-pa*» значение «войска» вообще устанавливается лишь на основании поздних словарей, а в документах хозяйственной отчетности данному сложному выражению соответствует не «войско» вообще, а особая категория воинов, в которой, как я уже сказал, Деймель видел «щитносцев». Надлежит также отметить в связи с выше указанной ссылкой, что в таблетке № 105, ст. 1, 3 издания М. В. Никольского, да и прочих столбцах этого документа, нигде не упоминается «*ama-egi₂-pa*». В ст. 1, 3 упоминается не «*ama-egi₂-pa*», а «*bi₂ suh₂-ha*». О последних говорит Деймель в Ог. 26, стр. 59 в связи с DP 135. Очевидно, ссылка в ŠL, № 237, 47 на Ник., 105 ст. 1 является ошибочной, а из этого вытекает для шумерологов, пользующихся этим чрезвычайно полезным словарем, методическое правило — снова цитировать текст, уже приведенный в ŠL, лишь при условии личного ознакомления с ним. Упоминается же «*ama egi₂-pa*» в издании М. В. Никольского в табл. № 3, об. ст. VIII, 2.

Не подкрепляет положение И. М. Дьяконова и его указание на то, что «ама-іг» не «мать плача», а «плакальщица»,¹ ибо «мать плача» весьма яркий образ для представительницы профессии плакальщиц. Такого же рода словообразованием и являлось, вероятно, выражение «мать лжи» «ама-lul-la».² Далее у И. М. Дьяконова вызывает недоумение, что старуха называется «ама siki» «мать шерсти»,³ но и это словообразование является конкретным обозначением старой женщины, которая в течение многих лет выполняла основную работу женщины — прядение шерсти.

Я готов причислить к подобным же словообразованиям и «ама-gi₄», с которым мы встречаемся при интерпретации текста ст. XII, 21—22 надписи конусов В и С.⁴ Аккадским эквивалентом данного шумерийского образования является слово «anduragu» или «duragu», соответствующее «свободе», «освобождению», «праву». Такое значение аккадского слова может быть хорошо согласовано с переводом шумерийского выражения «ама-gi₄» «мать успокоения».⁵ Я поэтому и решился предложить мое истолкование слова, или словообразования «ама-gi₄».

Наличие в шумерийском языке подобных словообразований, в которых слово «ама» «мать» выступает в качестве управляющего элемента родительного падежа, свидетельствует о том, что в шумерийском обществе доаккадского периода были еще очень сильны пережитки матриархата.⁶ В языке арабского развитого патриархального общества мы встречаем аналогичные словообразования, но здесь не «мать», а «отец» играет роль управляющего элемента родительного падежа, как, например: «пех», соб. «отец бодрствующего»; «осел», соб. «отец невежества»; «мак», соб. «отец сна»; «бородач», соб. «отец бороды»; «сфинкс», соб. «отец ужаса»; «удивительный человек», соб. «отец удивления»; «комета», соб. «отец хвоста» и т. д.⁷ Конечно, в арабском языке наряду со словообразованиями, использующими слово «отец» в переносном смысле, имеются и такие словообразования, в которых оно применяется в качестве «отца-родителя».

Естественно, что и в шумерийском языке мы находим слово «ама» «мать» в его первичном, прямом значении — «мать-родительница», как, например, «ама tud-da» «мать, которая родила», или «мать, которая рождает».⁸

¹ ВДИ, 1951, № 1, стр. 19. См. ŠL, № 237, 66, со ссылкой на SAK, 68, ст. V. 1.

² По мнению ВДИ, 1951, № 1, стр. 19 «ама-lul-la» означает не «мать лжеца», а ложь, но аккадский эквивалент этого шумерийского словообразования, к сожалению, не сохранился в древнем словаре. См. ŠL, № 237, 45. Вполне возможно, что в лакуне стояло нечто вроде «женщина, которая лжет», «женщина-лжец».

³ ВДИ, 1951, № 1, стр. 19. См. ŠL, № 237, 57 и 58.

⁴ Оно в других шумерийских текстах пишется несколько иначе: «ама-ag-gi₄». См. ŠL, № 237, 52. Здесь пясец, очевидно, дал иное образное написание для понятия, выражаемого данным словом.

⁵ См.: Deimel. Sumerisch-Akkad. Glossar, стр. 57 б, III, 7. К термину «ама-gi₄» надлежит вернуться при интерпретации соответствующего места надписи конусов В и С.

⁶ В овальной табличке ст. III, 20—24 надлежит отметить весьма яркий пережиток матриархального строя.

⁷ Эти примеры собрал для меня со свойственной ему любезностью В. И. Беляев, за что я приношу ему мою глубокую благодарность.

⁸ См. SAK, стр. 64f, ст. II, 1: «ама-tu(d)-da-ni» «его мать-родительница», букв. «его мать, которая рождает». Это выражение относится к богине того лица, которое составило данную надпись. О форме «tu(d)-da» см.: Falkenstein. Gram. d. Sprache Gudeas, т. 1, стр. 135, § 41, а 2: активное причастие с суффиксом локализации «-а». Об «ама-tu(d)» эпитете богини см.: M. Lambert в R. A., т. XLII 1948, стр. 199. Надлежит, конечно, вспомнить истолкование выражения «ама-tud-da» в надписи SAK, стр. 64f, ст. II, 1, предложенное впервые В. К. Шилейкой в «Вотивных надписях шумер. правителей», стр. XXVIII, пр. 1, которое приводит и ВДИ, 1951,

В прямом смысле слова мы должны понять и «ата» в соединении с выше проанализированным термином «икі» и, стало быть, следует перевести все выражение в целом: «мать бедняка». Поскольку же мы выше видели, что аккадский эквивалент шумерийского «икі» означал, согласно свидетельству документов из архива Мари, не только «бедняка», но вместе с тем и «бедного воина», т. е. лица, который не мог приобрести себе тяжелое вооружение и шел поэтому в поход в качестве легко вооруженного воина. Жена такого воина попадала после смерти или пленения мужа в особенно тяжелое положение, и государство должно было заботиться о ее судьбе, если она была не только вдовой, но и матерью малолетнего сына, который мог стать впоследствии заместителем своего погибшего отца. Законы Хаммурапи предусматривали подобный случай, когда после смерти отца-воина оставался малолетний сын, неспособный еще нести военную службу, и они при данных условиях постановляли передачу одной трети поля и сада воина его вдове, чтобы она могла вырастить своего сына.¹

Конечно, в Лагаше XXV в. до н. э., т. е. примерно за 6 столетий до царствования Хаммурапи, дело с обеспечением воинов было иначе организовано. Тогда, очевидно, все граждане несли военную службу, и они обеспечивались теми земельными наделами, которыми они владели на основании древнего права, согласно которому каждый свободный мужчина шумерийского города-государства должен был иметь свой земельный надел, хотя бы и самый маленький. Этот момент владения землей и отличал свободного человека от раба. В случае смерти свободного человека его земельный надел переходил во владение его взрослого сына, который и обрабатывал пахотное поле, входившее в состав его земельного надела. Если же сын еще был малолетний, то, очевидно, во владении вдовы и ее детей оставался лишь сад, т. е. приусадебный участок, поскольку в ст. V, 22—ст. VI, 3 надписи конусов В и С говорится лишь о злоупотреблениях по отношению к саду матери «икі», т. е. легко вооруженного воина. Социально-экономическое положение «икі» было, как мы выше видели, приниженным, так как не они, а тяжело вооруженные воины решали исход сражения. Поэтому обидеть вдову такого воина, имеющую на руках малолетнего сына, было делом нетрудным и можно было хозяйничать в ее саду, не опасаясь получить отпор. Учитывая обычность подобных злоупотреблений по отношению «ата икі», Урукагина, очевидно, и решил включить защиту ее в свои реформы.

В надписи овальной пластинки, как мы выше видели, оберегались интересы «*dumu iku*», т. е. сына легковооруженного воина, еще не способного выступать в поход, но уже способного принимать участие в работах по хозяйству, поскольку он мог устраивать себе рыбный садок, рыбы которого безнаказанно расхищались представителями господствующего

№ 1, стр. 19, но, к сожалению, без ссылки на В. К. Шилейку, его автора. В. К. истолковал его как «внучка», сопоставив его с «*ama-tud-da-ni-me*» в тексте таблетки Ник. 19, ст. III, 1—5, обозначающими по его мнению «внук», «внучка». Я же склонен видеть в «*ama-tu(d)-da-ni-me*» Ник. 19, ст. III, 5, опираясь на прямое значение этого сочетания, 2 рабов-детей, рожденных в доме рабовладелицы. Дело в том, что «ата» означает и «мать» и «чрево», поэтому все вышеприведенное выражение можно интерпретировать: «ее во чреве рожденные (рабы)», т. е. не купленные и не добытые на войне).

¹ § 29 законов Хаммурапи. В дошедших до нас ассирийских законах, которые не отвечают, как известно, на все основные запросы общества, говорится только об обеспечении государством жены попавшего в плен «хубшу», представителя вспомогательных войск в ассирийской армии. См. § 45 таблетки А средне-ассирийских законов.

класса.¹ В дальнейшем надпись отмечает запрет подобного расхищения имущества сына бедного воина. Заслуживает внимания тот факт, что из имущества «сына бедного (воина)» надпись упоминает один лишь «рыбный садок», а это обстоятельство, надо полагать, указывает на некоторую связь с рыболовством. Последним, вероятно, занимались не только малолетние, но и взрослые представители этого слоя населения Лагаша, которые находили себе, таким образом, приработок к скудному урожаю своего маленького земельного надела. В связи с этим надлежит вспомнить, что один из разрядов воинов, упоминаемый в законах Хаммурапи, назывался «баирум», т. е. «рыбаком».² Законы великого царя Вавилонской державы знали, кроме «баирума» «рыбака», еще одну категорию воинов, а именно «редума», который рассматривался в вавилонском обществе, очевидно, в качестве более привилегированного, нежели «баирум» «рыбак», поскольку он во всех статьях, посвященных сословию воинов, ставится на первое место, а «баирум» на второе.³

Поэтому весьма заманчиво последнее сопоставить с «икіу» «бедным (воином)» исторических надписей Урукагины, которые в обществе Лагаша XXV в. до н. э. занимали приниженное положение и которые пребывали в некоторой связи с рыболовством. Если можно согласиться с подобным сопоставлением, то следует предположить, что Хаммурапи стремился заменить термин «икіу», «labnu», — «низкий», «бедный» термином «рыбак», чтобы избежать унижительного названия для менее привилегированной категории своих воинов. Из этого же соображения он в своих законах заменил для раба-должника термин «раба» термином «заложник».⁴

Допущенное мной предположение о сопоставлении термина «икіу» «бедного (воина)» времени Урукагины с «баирум» «рыбаком» времени Хаммурапи становится еще более вероятным, если мы примем во внимание, что идеограммой для «редума» в законах Хаммурапи служит шумерийское слово «икі uš», которое обозначало тех тяжело вооруженных воинов, на которых опирались предшественники Урукагины.⁵ Им противостояли в документах хозяйственной отчетности архива храма богини Бау Лагаша так называемые «шуб-лугал'-и», являвшиеся менее привилегированной частью военных сил Лагаша.⁶ В таком случае можно сопоставить «икіу» и «šub lugal» и сделать вывод, что оба термина служили обозначением для одного и того же слоя населения Лагаша: «икіу» отмечало его социально-экономическую приниженность, а «šub-lugal» указывало на его специфическую зависимость от царя.⁷

Я пришел к концу моего исследования, посвященного вопросу о возможности отождествления фонетически близких клинописных знаков, но отличных друг от друга в отношении графики и лишь до некоторой степени близких в отношении семантики, как, например, «икіу» и «икіу». Я надеюсь, что методическое разрешение этого вопроса поможет преодолеть ряд существенных трудностей в понимании некоторых темных мест изучаемых шумерийских текстов.

¹ Ов. пласт., ст. II, 10—14. При интерпретации надписи я остановлюсь со всей детальностью на анализе этого текста.

² Идеографическое написание «баирум» соответствует шумерийскому слову «lú šu-ġa» «рыбак».

³ См. 55, 26, 27, 28, 30, 32, 38 законов Хаммурапи.

⁴ См. В. Струве. История Древнего Востока, 1941, стр. 97.

⁵ См. его же, Изв. ГАИМК, № 97, прим. 250, стр. 42.

⁶ Его же, Изв. ГАИМК, № 97, стр. 26—27.

⁷ При интерпретации надписей конусов В и С и овальной пластинки, которые упоминают в ряде мест «шуб-лугалей», я дам мое посильное объяснение этого термина и попытаюсь определить ту власть, от которой они зависели.

Summary

The author makes it a point to prove the absence of the category of tense in the Sumer language by juxtaposing the first part of the historical inscriptions of the King Urukaginas narrating the evils of the past with the second one dealing with the King's reforms. This juxtaposition establishes the fact of the verbal forms in both parts being identical, which leads to the conclusion that the Sumer verb states not the time but the completeness or non-completeness of the action. It is further shown that the verbal form of the non-completed action points to the iterative action too.

In the second part of his treatise the author tries to find out the rules which enabled the substitution of ideograms in the Sumer Texts. He states that the ideograms which are phonetically closely related but semantically absolutely differentiated are by no means to be substituted by one another. Only those ideograms which are semantically related can undergo such a mutual substitution.
